

## Клубная жизнь

Ольга Эдельман

Общественное мнение — предмет малоудобный для изучения и описания: многообразно, текуче, расплывчато. Тем более — на протяжении столь значительного исторического времени, от Екатерины II до 1917 г. Исследование такого рода темы рискует превратиться в набор общих мест, либо произвольно выбранную цепочку обстоятельств, иллюстрирующих ту или иную дорожную карту тенденции. Но, с другой стороны, общественное мнение, настроения и интеллектуальное состояние общества, несомненно, требуют изучения: без этого полноценной истории быть не может. И. С. Розенталь нашел методологический выход, подойдя к истории общественного мнения через историю клубов и тем самым ограничив расплывчатый главный предмет исследования четким фактологическим каркасом. Попутно сам собой разрешается бесконечно спорный вопрос: кого считать обществом? Общественное мнение — это чье? Зато появляется возможность анализа эволюции состава того общества, которое состояло из членов разнообразных клубов. Кроме того — и этот момент весьма существен — рассматривая клуб как способ организации досуга, исследователь получает возможность определить место интеллектуальной составляющей („мнений“) в общей структуре времяпрепровождения клубной публики.



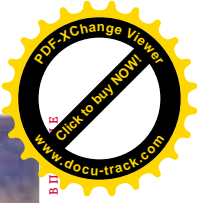
И. С. Розенталь.  
*«И вот общественное мнение!» Клубы в истории российской общности. Конец XVIII — начало XX вв.*  
М.: Новый хронограф, 2007. 400 с.

Наконец, история клубов сама по себе представляет несомненный интерес: как, когда и какие они возникли, чем там занимались, кто входил, как регламентировалась деятельность клубов их уставами и властью, как формировался клубный бюджет, даже какие бывали злоупотребления — все это И. С. Розенталь обсуждает в подробностях. Будет ли читатель удивлен, узнав, что и в XIX в. полиция взимала с клубов регулярные незаконные сборы, угрожая закрытием, а поводы для закрытия всегда существовали, ибо даже в самых респектабельных заведениях баловались запрещенными азартными играми? Под них отводились отдельные комнаты, в клубном обиходе именовавшиеся «инфернальными». И отчисления игроков являлись существеннейшей статьей дохода клуба. Даже Московского Английского.

Книга поделена на две части, граница проходит по середине XIX в., что в данном случае не является формальной датой. И. С. Розенталь показывает ощутимую разницу между клубной жизнью поры, когда о крестьянской реформе еще не было речи, и нарастанием иного качества общественности, начиная с обсуждения великих реформ. Поскольку автор специализировался на конце XIX — начале XX вв., части написаны несколько по-разному, первая имеет более выраженный историографический уклон

(к тому же и клубам первой половины XIX в. посвящена гораздо более обширная литература), вторая часть книги в большей мере фактографическая.

Для первой половины XIX в. главным и наиболее представительным клубом заслуженно считается Московский Английский. Большинство исследований сосредоточено на нем настолько, что существование в России в то же время каких-то других клубов, и даже Петербургского Английского, остается на периферии внимания. Книга И. С. Розенталя этот пробел восполняет, сохраняя за Московским Английским клубом его особое место. Но попутно автор тонко и точно отмечает созданное предшествующей литературой преувеличенное представление о нем как об интеллектуальном центре и оплоте московской оппозиционности, даже революционности. Да, в Московском Английском клубе получали и читали свежую европейскую периодику, и была библиотека — но она отнюдь не являлась самым оживленным из помещений клуба, почитать и поспорить туда заглядывали лишь отдельные любители, тогда как большинство завсегдатаев предпочитали вести немудрящие повседневные разговоры и обмениваться городскими сплетнями за обеденными и карточными столами. Да, в клубе ворчали на правительство и существовало некое противостояние Первопрестольной Петербургу. Но не следует преувеличивать оппозиционности живущего на покое отставного или не служившего вовсе московского барства. В целом, для этого периода клубы представляли собой способ организации досуга праздного человека, по преимуществу — дворянина. Они являлись не столько способом выражения общественного мнения, сколько возможностью (в том числе для представителей власти — членов тех же клубов) с ним ознакомиться, услышать,



ПУБЛИКУЕТСЯ В ДГ

чем толкуют. При этом, в силу самого состава членов, из сферы взглядов, которые могли быть озвучены в клубе, был исключен наиболее радикальный оппозиционный сегмент. А количество и структура клубов — их в тот период было сравнительно немного и каждый собирал относительно много членов, принадлежавших к достаточно широкой социальной страте — придавали им роль скорее объединяющую и нивелирующую различия во взглядах и позиции членов.

С эпохой великих реформ произошли изменения и в наборе тем, ставших предметом клубного обсуждения, и в составе членов. Клубы стали демократичнее, а сохранявший аристократические традиции Английский клуб утратил центральное положение в общественной жизни Москвы. Возникли клубы интеллигенции, клубы, объединявшие политических единомышленников разных мастей, литературно-художественную богему, наконец, рабочие клубы. В то же время изменилась и социальная функция клубов, у них появились совершенно новые задачи: творческие, идеологические, образовательные. После манифеста 17 октября 1905 г. легальные политические партии и течения разных оттенков создавали свои клубы, которые таким образом становились одной из форм организации политической активности. Вторая часть книги насыщена богатым фактическим материалом, в значительной части новым или же никогда не подвергавшимся обобщению под таким углом зрения. И. С. Розенталя показывает, как клубы отражали разнообразие и возрастающую вариативность общества. Уделяет внимание бытовым подробностям клубной жизни (устройство помещения, что ели, во что играли). Описывает механизм полицейского контроля над клубами и полицейско-коррупционные скандалы, которые к началу XX в. становились гласными, попадали в газеты и доходили до суда (самое шумное — дело московского градоначальника генерала А. А. Рейнбота и его помощника полковника В. А. Короткого). Контроль этот, впрочем, не очень мешал участникам революционного подполья пытаться использовать клубы в своих видах. Более серьезным препятствием могло быть противодействие самих членов клуба. В пореформенное время клубы уже не столько объеди-

М. А. Волошин. Пейзаж Крыма. 1918 (фрагмент)



няли определенный сегмент общества, сколько стали средством выражения различий и специфики тех или иных групп.

Особая статья — рабочие клубы, появлявшиеся с начала XX в. В отличие от других сословий, рабочие от избытка досуга не страдали и от хождения в клуб хотели получать пользу. Тяга самих рабочих к образованию, понимание пользы образования для изменения своего социального статуса соединились с просветительскими устремлениями демократически настроенной интеллигенции и реализовывались через клубы. Потому рабочие клубы вели в первую очередь

просветительскую работу: устраивали лекции, кружки самообразования, доступные библиотеки и сыграли заметную роль в формировании „рабочей интеллигенции“. С другой стороны, грань, отделявшая легальные рабочие организации от нелегальных политических партий, была весьма тонка, и те же рабочие клубы могли служить ширмой ориентировавшимся на рабочую среду социал-демократам.

Умная, добротная книга И. С. Розенталя несомненно пополняет наши представления о развитии русского общества, полезна методологически и интересна как чтение. ■

## В тупиках большой науки

Ольга Эдельман



Могильнер М. *Нота империи: История физической антропологии в России (конец XIX – начало XX вв.)*. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с.

**А**втор — редактор известного журнала «Ab Imperio» Марина Могильнер, представляет эту книгу во введении как результат многолетней работы: «Эта книга — о возникновении и эволюции категории расы в Российской империи, точнее — о становлении науки физической антропологии в России, о том, какие основные направления она принимала и на какую культурную и политическую роль претендовала. Эта книга — о людях, которые открыли для себя научное понятие „раса“ и восприняли его как важнейшую категорию анализа российского имперского общества.

По сути, это первая история российской антропологической мысли, о богатстве и разнообразии которой не подозревают не только современные историки, но и антропологи, изучающие постсоветское (постимперское) пространство [...]. Это книга о процессах саморегулирования и саморегулирования в империи, о пределах модернизационных проектов российских интеллектуалов, о мысленном моделировании массового имперского общества и о проблемах современного национализма в империи» (с. 5).

В принципе, постановка проблемы интересна вдвойне. Физическая антропология во второй половине

XX в. стала новым направлением в науке, от нее ожидали откровений и прорывов в понимании человека и человеческого сообщества, искали возможность соединения гуманитарного знания с естественно-научным, точнее даже, видимо, перевода традиционной сферы гуманитарных наук на некие прочные биологические и физиологические основания. Таким образом, история физической антропологии — это в некотором роде история заведших в никуда масштабных интеллектуальных поисков. Одна из составляющих краха этого научного направления была в том, что очень быстро усилия ученых позитивистов по измерениям черепов, носов и пропорций тела у разных народностей оказались удобным, излюбленным аргументом расистских теорий. Таким образом, М. Могильнер в принципе права, рассматривая антропологию в непосредственной связи с самописанием имперских обществ. Проблема в том, что она не считает нужным проверить и оговорить меру и границы применимости своего теоретического инструментария к реальному историческому материалу. М. Могильнер с навязчивой частотой оперирует определениями «имперское/колониальное», сводя весь предмет исследования к этой плоскости и будто желая загипнотизировать читателя и не позволить задать вполне правомерные вопросы. Быть может, самой М. Могильнер представляется, что определение «имперский» можно относить решительно ко всему, произрастающему и происходящему в пределах государства, именуемого империей. Но это совершенно неочевидно; напротив, очевидно, что выбранная автором тема имеет значительно большее число измерений. Почему, к примеру, задача изучения, описания, классификации, установления родства народов, населяющих Российскую империю, однозначно сводится М. Могильнер к «имперским практикам»? А заодно и усилия врачей-гигиенистов, поверивших в пользу антропологических измерений, и криминологов, искавших «физический тип преступной личности» — также к «имперским практи-

кам». А если под «имперскими практиками» и в самом деле понимать все, что делалось и думалось на пространствах империй, — то в чем вообще смысл этой безграничной дефиниции? Автор книги от вопросов об адекватности и правомерности своей методики старательно уклоняется, делая вид, что пользуется инструментарием апробированным настолько, что любые сомнения неуместны.



М. А. Волошин. Морской пейзаж. 1924 (г.гали)

Выполняя заявленную программу, М. Могильнер начинает — нет, не с возникновения антропологической научной школы и направления, но со «складывания антропологической парадигмы» в России. Оформлялась эта парадигма постепенно «в процессе переориентации передовой части академического сообщества (и просвещенного общества в целом) на идеи дарвинизма» (с. 28), ранние энтузиасты антропологии видели в ней «логическое завершение экспансии эволюционной теории в сферу знаний о природе, включая человека» (с. 30). Каким образом, кстати, дарвинизм, возникший как раз в рамках естественных наук, ухитрился совершить экспансию в них же, автор не поясняет. А переходит к описанию оформления научных обществ и кафедр. Антропологи работали не только и не столько на университетских кафедрах (чему мешала междисциплинарность этого нового направления), сколько в общественных организациях, лидировало среди которых состоявшее при Московском университете Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, выпускавшее

«Русский антропологический журнал», который «форматировал научный язык, определял доминантный круг проблем, маргинализировал одни направления и утверждал другие» (с. 34). М. Могильнер указывает, что антропология в России, как и в Европе, «на максимально обобщенном уровне» явилась «продуктом структурных процессов модернизации европейских обществ и распространения империалистических „практик“». Слом старых социальных иерархий, формирование протомассовых обществ демократизировали понятия «культуры» и «цивилизации» [...] Обилие новой информации о неевропейских народах и культурах, непосредственные контакты с ними только интенсифицировали невротические опасения людей «старого света» в связи с возможной релятивизацией их культуры как неоспоримой и абсолютной высшей точки человеческой цивилизации» (с. 38–39). Беда в том, что примерно этим «максимально обобщенным уровнем» М. Могильнер и ограничивается. В ее работе нет решительно ничего из того, на что вправе рассчитывать читатель книги по истории некогда процветавшего научного направления. Удивительно, но автор сумела написать свой 500-страничный труд, вовсе не затронув ни историю науки вообще, ни историю антропологии в частности, не говоря уже о включении предмета в контекст истории общественно-политической мысли. Герои ее книги кажутся вообще к собственно истории мысли отношения не имеющими: они создают «проекты», «форматируют язык описания» и делают прочие странные на взгляд скромного практикующего историка вещи. Собственно, вся история возникновения антропологии как направления М. Могильнер сводит сначала к «складыванию антропологической парадигмы в России», а затем ее «нормализации», под каковой подразумевается создание университетских кафедр. Станным образом повествование оживляется и наполняется исторической конкретикой, лишь когда доходит до вопросов финансирования новорожденного научного на-



вления: тут автор приводит суммы с точностью до рубля, подробно сообщает о сроках и условиях профессорских контрактов. Дает М. Могильнер и сжатые биографические очерки крупнейших ученых. Но сама по себе научная деятельность описана исключительно как «парадигма», а затем «нормализация» (включая финансирование). Нигде в объемном труде М. Могильнер не найти и намек на интеллектуальную историю.

XIX в., тем более для мыслящего русского общества второй его половины — эпоха позитивизма (сдавшего позиции, пожалуй, только после Второй мировой войны и шока от появления атомной бомбы), эпоха, увлеченная научным поиском как средством преобразования мира и человека, видевшая в естественных (и в меньшей мере — в гуманитарных) науках перспективу достижения социального мира, избавления от болезней и дефектов цивилизации. Такого рода сверхзадача вменялась но-

вым направлениям, и уж (предположу, ибо М. Могильнер не говорит об этом ни слова, ни буквы) тем более так увлекшей публику физической антропологии. Чего от нее ожидали? Точного, объективного, обоснованного знания о человеческом разнообразии, народах и расах? Ключа к пониманию происхождения человека? Основы для массовых санитарно-гигиенических мероприятий? Эти вопросы тем более правомерны, поскольку в России второй половины XIX в. в естественных науках работали люди, в разной степени оппозиционные самодержавию, рассматривавшие науку как альтернативу официальной идеологии, в частности — официальному православия. Атеисты, противопоставлявшие науку социальным предрассудкам и религиозным суевериям (об их антиклерикальной интенции М. Могильнер, как и о многом другом, не обронила ни слова). Почему М. Могильнер считает возможным говорить, например, о том, что авторитет либерала и корифея Д. Н. Анучина «определял лицо российской имперской антропологии» (с. 198)? С нехорошим предчувстви-

ем ожидаешь, пожалуй, появления на следующих страницах «имперского революционного движения», затем с облегчением обнаруживаешь, что, нет, не появилось.

Чем тогда, полтора столетия назад, антропология взволновала умы? Чем потом (кроме очевидного использования немецким фашизмом в частности и расизмом вообще) раз-

о Р. Л. Вейнберге, крещеном иудее, петербургском профессоре, занимавшемся краниологическими измерениями и изучавшем в медицинской клинике черепа эстонцев, латышей и поляков, М. Могильнер замечает: «сложно сказать, от лица кого — колонизатора или колонизируемого — говорил Вейнберг-антрополог» (с. 299).



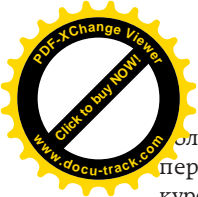
Виктор Пивоваров. Сверхчок на печи. 2001. Холст. Масло. 40х60

очаровала? Что дала и чего не дала? Об этом в книге ничего нет. Есть описание нескольких основных направлений, связанных с именами крупнейших антропологов, работавших в ведущих научных центрах (Москва, Петербург, Казань, Киев). Эти направления М. Могильнер определяет как «либеральную антропологию имперского разнообразия», «антропологию имперского однообразия», «антропологию многонациональности» и пр. Автор приводит характеристику взглядов и работ этих ученых, но, будучи выдержана в той же плоскости «имперского/колониального», она дает примерно такое же представление об их научной мысли, как распластанная шкурка белки — о белке в лесу.

Исторической фактуры в книге неоправданно мало, взгляды и позиции лидеров научных направлений изложены не слишком последовательно, лишены хронологии и, следовательно, внутреннего развития и сведены к противопоставлению «имперского разнообразия» «имперскому однообразию», «колониальным и национализирующим практикам» и пр. Так,

Чем руководствовался и как формулировал свою задачу сам Вейнберг — неважно. Может быть, М. Могильнер располагает данными, позволяющими оценивать научные труды Вейнберга в категориях колониальности, но с читателем она ими не делится, исходя из постулируемой самоочевидности своих оценок. А она, очевидность эта, весьма напоминает догматическую убежденность советских обществоведов, вменявших персонажам истории «классовое сознание», а то и «чутье» на основании их социального происхождения и независимо от взглядов и мнений самого препарируемого персонажа.

Помимо (и вследствие) неумеренного теоретизирования и схематизации книга М. Могильнер грешит еще и столь же неумеренным употреблением наукообразного терминологического новояза. Из книги выносишь впечатление, что антропологи были заняты чем-то вроде переопределения и переописания антропологического проекта в контексте форматирования языка имперского дискурса. Или, может, я ошибаюсь, речь наоборот о форматировании языка антро-



ологического проекта в контексте переопределения имперского дискурса, или что-то еще такое. Эти слова спокойно можно располагать в любом порядке. Примечательно, что авторы солидных, фундаментальных исторических исследований, прочно входящих в анналы историографии, такого жонглирования терминологией избегают. Терминология хороша в строго определенном месте и для строго определенных целей, при неумеренном употреблении, выводя себя за рамки нормального литературного языка, любители наукообразно выражаться — пользуясь

их собственным языком — маргинализируют себя.

В сущности, создается впечатление, что история антропологии М. Могильнер не интересует. Она — лишь повод для теоретизирующих рассуждений об «имперском/колониальном». С равным успехом таким поводом могло послужить что угодно другое: издание школьной азбуки, торговля ситцевыми тканями на внутреннем рынке, правила взимания налогов и сборов, — все сгодится, чтоб на понятном лишь посвященным, отформатированном языке потолковать об имперских практиках. ■

